ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ АФРИКУ

ЗУЛУСОВ ПРЕВРАТИЛИ В ЛЕГЕНДУ



Чака, королевство и факты по другую сторону мифа

РОМАН

САВИЩЕВ

Роман Савищев

Зулусов Превратили В Легенду. Чака, королевство и факты по другую сторону мифа

«Автор»
2026

Савищев Р.

Зулусов Превратили В Легенду. Чака, королевство и факты по другую сторону мифа / Р. Савищев — «Автор», 2026

Можно ли отделить подлинную историю Чаки от легенды о непобедимом вожде? Королевство зулусов возникло не в пустоте: за его становлением стояли родственные союзы, борьба за пастбища, организация войска и сложные отношения соседних общин. Книга ведёт читателя от жизни до объединения к противоречивой памяти о Чаке, спору о массовых переселениях и войне 1879 года. Главное здесь — не набор эффектных битв, а вопрос, почему свидетели, предания и историки рассказывают об одних событиях по-разному. Это история власти, которая стала легендой, и источников, позволяющих увидеть её заново.При подготовке издания применялись современные интеллектуальные инструменты, помогающие систематизировать материалы и сделать изложение более ясным.

© Савищев Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Дисклеймер 5
Введение 6
Глава 1. До королевства: земля, хозяйство и соседние вождества 8
Глава 2. Власть, родство и обмен обязательствами 14
Глава 3. Юность Чаки: что известно и что спорно 20
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Роман Савищев
Зулусов Превратили В Легенду. Чака, королевство и факты по другую сторону мифа

Дисклеймер

Исторические столкновения, насилие и колониальная война рассматриваются исключительно как предмет исторического исследования. Даты, численность войск и потерь, причины миграций и биографические сведения о Чаке в источниках могут расходиться; там, где подтверждение недостаточно, версии следует воспринимать как исследовательские реконструкции, а не установленную хронику. Устные предания описывают историческую память, но не всегда поддаются независимой проверке. Книга не оправдывает насилие, не оценивает современные сообщества через действия исторических правителей и не предлагает политических аналогий или практических рекомендаций.

Введение

В библиотеке Мейнутского университета хранится подборка писем офицера 1/24-го полка Джорджа Уорделла; среди них есть послание, отправленное из Роркс-Дрифт 10 января 1879 года [S03]. Оно написано за несколько дней до сражения при Исандлване и задолго до того, как война получила своё привычное название в учебниках. Ценность этого листа как раз в его обыденности: человек фиксирует то, что доступно с его места, в пределах собственного кругозора, не предполагая, как станут читать его строки спустя столетие и не имея возможности сверить их с тем, что происходит за пределами лагеря [N01]. Рядом с таким документом в исследованиях почти всегда оказывается материал иной природы — устные рассказы о событиях начала века, записанные десятилетиями позже и собранные в многотомном архиве Джеймса Стюарта [S11]. Это не сообщения очевидцев, а память, прошедшая через отбор, перевод и руку собирателя, работавшего в условиях колониальной администрации Наталя.

Сопоставление двух столь неравных листов задаёт вопрос: как из свидетельств разного возраста и разного происхождения складывается история королевства. Королевство, сложившееся на юге Африки в первой трети XIX века, доступно нам не напрямую, а через источники разного происхождения: канцелярскую бумагу, отчёт чиновника, дневник путешественника, компиляцию преданий, школьную статью, научную монографию и более поздний справочник [S17]. История здесь не вырастает из одного связного рассказа. Она складывается из проверки того, что можно установить, из оценки того, что кто-то видел, и из осторожного прочтения того, что община передавала о своём прошлом. Граница между этими слоями проходит там, где заканчивается проверяемое основание и начинается правдоподобное, но не подтверждённое независимо продолжение; провести её иначе означало бы подменить источник удобством вывода.

Между четырьмя регистрами высказывания проходит граница, которая решает, что именно можно утверждать: датировка, сообщение современника, предание и вывод исследователя отвечают за разные утверждения [N02]. Фактом здесь называется датировка, объект или документ, на который существует доступная ссылка. Свидетельством считается запись конкретного человека, сделанная в конкретное время, с указанием его положения и возможной заинтересованности. Устным преданием называется рассказ о прошлом, сохранённый и переданный внутри сообщества; он сообщает не столько о том, как всё произошло, сколько о том, как прошлое объясняли. Научная интерпретация — это уже рассуждение историков, которые спорят о причинах и предлагают альтернативные объяснения одного и того же ряда событий. Ни один из этих регистров не отменяет остальные, но и не заменяет их: ошибкой было бы принять поздний пересказ за отчёт очевидца, а гипотезу исследователя — за установленную дату.

Такое разделение особенно важно потому, что в истории зулусов почти каждое крупное утверждение имеет несколько версий. Биография Чаки пересказывалась по-разному в разные десятилетия, и статья Дафны Голан показывает, что так называемая базовая биография воспроизводит структуру героического сюжета, а не простую последовательность документированных событий [S01]. Утверждения о новом оружии и новой тактике принадлежат в основном популярным переложениям и не находят независимого подтверждения в доступных источниках [S07]. Слово mfecane, которым долгое время объясняли целую эпоху перемещений, само стало предметом спора: его происхождение и объяснительная сила оспариваются с конца 1980-х годов [S06]. Оценки численности армий и потерь, встречающиеся в бумагах современников, расходятся между собой и остаются оценками, а не итогами подсчёта [S04]. Эти расхождения не сглаживаются и не сводятся к самой удобной версии: каждая позиция опирается на свои материалы, и водораздел проходит там, где меняется основание вывода.

Власть на юго-востоке Африки складывалась не в пустом пространстве и не по воле одного лица. К началу XIX века здесь соседствовали несколько вождеств с собственными правящими домами, стадами и связями с побережьем; между ними уже действовали брачные союзы, споры о старшинстве и обязательства, выраженные в скоте. Из этой сети и выросло королевство — сначала как более крупный союз дворов, затем как центр, где принимались решения о пастбищах, приплоде и подчинении зависимых территорий. Понять переход можно только через устройство самих отношений, а не через характер отдельного правителя, которого поздние описания то возвышали до сверхчеловека, то сводили к карикатуре. Разрозненные свидетельства позволяют проследить, как сеть обязательств превращалась в государство, и одновременно показывают, почему одно и то же прошлое рассказывают столь по-разному.

Письма офицеров, отчёты чиновников, компиляции преданий и более поздние исследования различаются возрастом и задачей: один текст фиксирует дату, другой объясняет происхождение, третий предлагает причину. Там, где источник передан своими словами, сохраняется его смысл, но не приписываются слова, которых он не писал. Речи исторических лиц, их мысли и мотивы недоступны не потому, что о них нечего сказать, а потому, что материалы такого уровня детализации не сохранились. Устный пересказ, записанный десятилетиями позже, сообщает о памяти своего времени, и потому его нельзя выдать за сообщение очевидца событий начала века.

Состояние источников задаёт и тон разговора: скудость материала виднее при спокойном изложении, чем при попытке заполнить лакуну переживанием. Там, где документы скудны, говорится прямо, что они скудны; там, где историки расходятся, называются обе стороны; там, где известно только предание, оно и остаётся преданием [S09]. Напряжение здесь создаётся реальными решениями людей, нехваткой пастбищ, спором о земле и устройством архива, а не догадками о том, что кто-то мог почувствовать в такую-то ночь. Столкновения, перемещения, зависимость и война изменили управление, хозяйство и состав сохранившихся свидетельств; именно эти последствия поддаются проверке, тогда как подробности страдания в доступных бумагах не зафиксированы.

Земля, скот, сезонный порядок и политическая карта региона существовали задолго до обоих документов. Там соседствовало несколько вождеств, и никакой «пустоты», ожидавшей одного объединителя, не было [S15]. Власть вообще могла возникнуть только из устройства этих мест: из пастбищ, водных рубежей, родственных связей и тех ограниченных сведений, по которым только и можно судить о времени до укрупнения.

Глава 1. До королевства: земля, хозяйство и соседние вождества

Когда историк берётся описать юго-восток Африки на рубеже XVIII и XIX веков, первым делом он сталкивается не с картой, на которой проведены границы, а с перечнем того, что вообще поддаётся счёту. Скот в источниках этого времени выступает не как живописная подробность быта, а как главный измеримый ресурс: он даёт молоко и мясо, определяет состоятельность отдельного двора и вместе с тем служит тем средством, которым люди выражают обязательства друг перед другом [S15]. Уже одно это обстоятельство задаёт масштаб разговора. Вместо привычного вопроса о том, кто именно «основал государство», приходится сначала выяснить, из чего состояло хозяйство, на чём держалось благополучие семьи и какие границы в принципе можно провести на местности, где пастбища сменяются по сезону, а права на них определяются не межевым знаком, а договорённостью между домами.

Ландшафт здесь полезно понимать как документальную данность, а не как декорацию. Пастбища, водные рубежи и сезонные переходы между ними фигурируют в исследованиях потому, что именно они ограничивали выбор людей: где можно держать стадо в сухой сезон, куда отводить скот в дождливый, какие реки служат естественной границей между владениями соседей. Река в таком описании — не линия на бумаге, а рубеж, который известен тем, кто живёт по обе стороны, и который по-разному называется в записях разных десятилетий. В русской передаче закрепились написания вроде «Тугела» и «Делагоа», однако они не всегда совпадают с тем, как те же имена выглядят в английских и в зулусских источниках, и это расхождение приходится помнить всякий раз, когда географическое название используется как опора для датировки или для вывода о принадлежности земли [N03].

Словосочетание «дошаковский период», которое неизбежно возникает в литературе, удобно, но требует оговорки. Оно обозначает время до укрупнения власти под главенством Чаки и не указывает на резкую границу в повседневной жизни общин: люди продолжали пасти скот, заключать браки, спорить о пастбищах и хоронить старших независимо от того, какую веху позднее выберут историки [N04]. Удобство такого ярлыка оборачивается опасностью, когда он начинает подменять собой описание. Если принять его буквально, легко вообразить некую однородную «эпоху до», которую затем сменила «эпоха после», хотя доступные материалы не дают оснований ни для такой ровности, ни для такого перелома. Корректнее говорить о нескольких десятилетиях, известных неравномерно и восстанавливаемых по обрывкам разного происхождения.

Главное возражение против картины «пустоты, которую заполнил один человек», состоит в том, что регион был заселён и политически размечен задолго до интересующего нас укрупнения. На этой территории соседствовало несколько вождеств с собственными правящими домами, собственными стадами и собственными связями с побережьем; в более поздних работах среди таких образований обычно называют Мтетва и Ндвандве, упоминая правителей, чьи имена дошли главным образом через поздние пересказы [S14]. Называя их, важно не приписывать им ту чёткость границ и ту степень централизации, которая появилась позже: это были сообщества с разным весом и разной внутренней организацией, а не уменьшенные копии будущего королевства. Сама необходимость оговаривать это показывает, насколько осторожно приходится обращаться с политической картой, восстановленной по свидетельствам, записанным спустя поколения.

Родство связывало эти дома не меньше, чем соперничество. Брачные союзы, передача скота между семьями, старшинство одних ветвей перед другими и споры о наследовании создавали сеть обязательств, которая не совпадала с картой владений и нередко её определяла [S11].

Власть правителя в таком устройстве не сводилась к праву распоряжаться людьми по своему усмотрению: она опиралась на признание со стороны старших домов, на способность распределять доступ к пастбищам и на умение поддерживать равновесие между родственниками, каждый из которых имел собственные основания для притязаний. Поэтому политическую карту периода правильнее представлять как сеть отношений разной прочности, а не как набор аккуратно очерченных территорий, ожидавших, пока кто-то один соберёт их воедино.

Из такого устройства вытекает различие, которое легко упустить при взгляде на карту: власть здесь держалась скорее на людях и на скоте, чем на точно очерченной территории. Земля была необходимым условием хозяйства, но права на неё определялись через принадлежность к дому и через признанные договорённости, а не через документ о границе. Поэтому расширение влияния одного вождества часто означало не столько приобретение новой площади, сколько переход под его покровительство новых дворов вместе с их стадами и обязательствами. Это обстоятельство поясняет, почему последующие споры о земле и о границах, хорошо знакомые по более поздним административным документам, не могут быть без оговорок перенесены на начало века: предмет спора в источниках разного времени попросту не совпадает. Для восстановления политической карты периода важнее проследить, за кем шли люди и кто распоряжался скотом, чем пытаться провести линию там, где её в то время могло не быть.

Скот заслуживает отдельного разговора, потому что в источниках он работает сразу в нескольких регистрах. Как имущество, он измерим и передаётся по наследству; как пищевой ресурс, он определяет, сколько людей может прокормить двор в неурожайный сезон; как средство обязательства, он скрепляет брак, зависимость и покровительство. Из этой троякой роли вырастает экономика, которую нельзя описать одним словом «скотоводство»: речь идёт о системе прав и долгов, где обладание стадом всегда означает ещё и чьё-то встречное право на часть этого стада или на труд, им обеспеченный. Исследователи, обращавшие внимание на недооценённые фигуры зулусской истории, подчёркивают, что такая система не была делом одних только мужчин-правителей, поскольку ведение двора, обработка зерна и распоряжение молоком входили в круг повседневных решений, без которых никакое стадо не превращалось бы в устойчивое хозяйство [S05].

На уровне отдельного двора эти общие положения оборачиваются довольно прозаическими расчётами. Решение о том, когда перегонять скот на другое пастбище, зависит не от абстрактной «традиции», а от состояния травы, от близости воды и от того, насколько безопасны договорённости с соседями; решение о том, сколько голов можно передать при заключении брака, зависит от размера стада и от обязательств перед уже существующими родственниками. Для пастуха, для старейшины, для женщины, ведущей домашнее хозяйство, сезон складывается из последовательности таких выборов, и каждый из них ограничен материально — наличием корма, сезоном дождей, числом рабочих рук. Именно поэтому здесь хозяйство рассматривается не как фон для событий, а как одна из причин, по которой события вообще принимали тот или иной оборот: там, где ресурс ограничен, меняется и цена союза, и цена разрыва.

Экологические ограничения начала XIX века в историографии обычно связывают с неравномерностью осадков, с давлением на пастбища и с необходимостью время от времени перераспределять доступ к земле [S13]. Здесь важно не поддаться соблазну превратить климат в универсальное объяснение. Засуха или истощение пастбища сами по себе никого не «заставляют» объединяться; они меняют набор доступных решений, делая одни договорённости более желанными, а другие — более дорогими. Исследователи специально оговаривают, что экологические факторы следует рассматривать в связке с торговлей, с движением людей и с политическими расчётами, а не вместо них. Такая оговорка задаёт тон всему дальнейшему разговору: объяснение ищется в сочетании условий, а не в одном всемогущем факторе, будь то природа, торговля или воля правителя.

Торговля добавляет к этой картине ещё одно измерение. Пути к побережью и обмен с приморскими факториями упоминаются в работах о периоде как часть регионального контекста; залив Делагоа в более поздней литературе окажется одним из узлов, вокруг которых развернётся спор о причинах потрясений 1820-х годов. Состав предметов обмена, его объёмы и направление в доступных сводках оцениваются по-разному, и потому здесь эти величины не приводятся как установленные числа: осторожнее сказать, что обмен существовал, что он связывал внутренние районы с побережьем и что контроль над путями к нему был предметом заинтересованности нескольких вождеств сразу. Уже из одного этого видно, насколько условна картина изолированного «внутреннего мира», который будто бы жил сам по себе до прихода внешних сил.

Давление с побережья, рост спроса на скот и на рабочую силу, соперничество за торговые посредничество — всё это в историографии выступает не как набор доказанных событий, а как конкурирующие объяснения, предложенные разными авторами в разное время [S13]. Такая формулировка принципиальна: она позволяет не выдавать гипотезу за хронику. Когда здесь говорится, что некий фактор «рассматривается исследователями», речь идёт именно о научной интерпретации, а не о том, что фактор достоверно установлен в каждом конкретном эпизоде. Различение это тем важнее, что спор о причинах расширения государства и перемещений целых сообществ оказался одним из самых продолжительных в историографии региона и будет подробно разобран ниже; здесь достаточно наметить, что хозяйственные и торговые ограничения существовали до и независимо от того, как их позднее объяснили.

Вопрос о том, что вообще можно знать об этом времени, упирается в природу источников. Их удобно разделить на четыре неравные группы, и каждая требует своей проверки. Археологические данные дают материальные следы расселения и хозяйства, но почти не сообщают о родственных связях и о том, как люди называли свою власть. Устные предания сохраняют логику происхождения, старшинства и долга, однако дошли до нас в записи, сделанной много позже описываемых событий. Записи путешественников и чиновников принадлежат перу людей со стороны, со своим кругом интересов и со своим словарём для чужого устройства. Наконец, нынешняя научная интерпретация соединяет всё это в объяснительную схему, неизбежно отбирая одни свидетельства и оставляя в тени другие [S10].

Отдельно стоит сказать о генеалогиях, которые занимают заметное место в записанных устных свидетельствах. В них обычно сохраняется порядок старшинства домов, последовательность правителей и указание на то, от какой ветви произошла та или иная группа; при этом почти никогда не сохраняется абсолютная дата, с которой можно было бы сверить эту последовательность. Для задачи этой главы такое свойство материала оказывается сразу и подспорьем, и помехой. Порядок старшинства позволяет понять, почему один дом претендовал на главенство, а другой оказывался в подчинённом положении, но он не позволяет уверенно сказать, в каком именно году возникла та или иная конфигурация. Историк поэтому работает с относительной хронологией: сначала выстраивается цепочка связей, и только затем к ней осторожно прикладываются немногие внешние даты, взятые из письменных документов. Там, где внешняя дата отсутствует, честнее оставить последовательность без календарного ярлыка, чем заполнить пробел правдоподобной догадкой.

Многотомная «Общая история Африки», издаваемая под эгидой ЮНЕСКО, даёт широкую канву XIX века и полезна именно как контекст, но не как замена местным свидетельствам. Том, посвящённый девятнадцатому столетию до 1880-х годов, позволяет сверить региональные процессы с тем, что происходило на континенте в целом, однако общая канва не отвечает на вопрос о конкретном вождестве и конкретном пастбище. Такие сводные работы используются осторожно: они задают рамку, в которой частный эпизод становится понятнее, но не сообщают того, чего нет в более близких к региону материалах. Там, где нужен вывод о местном устрой-

стве, опора делается на записи, связанные с Наталем и Зулулендом, а не на континентальный обзор.

Разрыв во времени между событием и его записью — пожалуй, самая заметная трудность этого периода. Основной массив устных свидетельств, на который опираются исследования начала века, был записан в конце XIX и в начале XX столетия, то есть десятилетиями позже того, о чём в нём идёт речь [S11][N05]. Это не делает свидетельства бесполезными, но меняет их статус: они рассказывают и о прошлом, и о том, каким это прошлое виделось в момент записи, и о том, какие вопросы задавал собиратель. Выдать такой пересказ за сообщение очевидца событий 1810-х годов было бы ошибкой, поэтому здесь он всякий раз помечается как устное предание, а не как факт или как свидетельство современника.

Собрание Джеймса Стюарта занимает здесь особое место: это главный массив записанной устной памяти о зулусах и соседних народах, и одновременно — пример источника, чьё происхождение нужно оговаривать при каждом обращении. Собиратель работал в условиях колониальной администрации Наталя, записывал разговоры на языке оригинала и позже готовил их к публикации; уже одно это означает, что дошедший до читателя текст прошёл через отбор, перевод и редактуру. Позиция собирателя не превращает записи в выдумку, но она объясняет, почему одни сюжеты сохранились подробно, а другие почти исчезли. Историк, работающий с таким материалом, вынужден всё время держать в голове два вопроса: что именно рассказал собеседник и что именно решил зафиксировать человек с блокнотом.

Ранние компиляции преданий, прежде всего работы А. Т. Брайанта 1929 и 1949 годов, дают следующий слой проблемы [S09]. Они чрезвычайно ценны как свод того, что к моменту записи ещё бытовало в устной памяти, и вместе с тем представляют собой уже не саму память, а её литературную обработку: автор выстраивает разрозненные рассказы в связную древнюю историю, заполняет лакуны и подбирает слова, которых в устном пересказе могло не быть. В реестре источников такие работы прямо определены как объект историографического анализа, а не как нейтральный отчёт. Читать их стоит так же, как читают позднюю карту: по ней можно судить о представлениях её составителя, но нельзя без проверки судить о том, где именно в начале века проходила межа.

Критика ранней этнографической реконструкции прошлого Наталя, прозвучавшая в новейших исследованиях, заметно уточняет эту осторожность. Статья Джона Райта, посвящённая тому, как Брайант конструировал категорию «лала», показывает, что привычные нам названия групп и границы между ними нередко являются результатом более поздней классификации, а не прямой фиксацией тогдашнего устройства [S08]. Иными словами, споря о том, какое вождество где находилось, историк иногда спорит не с источником начала века, а с компоновкой, проделанной в кабинете сто лет спустя. Такой вывод не отменяет ценности ранних записей, но переносит акцент: сначала выясняется, как создавалось описание, и только потом — насколько оно соответствует тому, что описывает.

Правомерность применения поздних этнографических описаний к началу XIX века остаётся отдельным спорным вопросом, и здесь он не снимается простым решением [S08][S09]. С одной стороны, иных подробностей о хозяйстве, родстве и повседневном порядке почти нет, и отказаться от поздних записей означало бы оставить главу пустой. С другой — переносить обычаи, зафиксированные спустя поколения, на более раннее время можно лишь с оговоркой и лишь там, где нет оснований предполагать перемену. Исследователи расходятся в том, где проходит эта граница: одни допускают осторожную экстраполяцию, другие настаивают, что реконструкция «дошаковского» прошлого по таким данным методологически недостоверна.

Полезно также не смешивать три разных регистра, которые часто идут подряд в популярных переложениях: «изобретение традиции», «устную историю» и «колониальную запись» [S07]. Изобретение традиции — это аналитическое понятие, описывающее, как более поздние институты получают ссылку на давнее прошлое. Устная история — это и метод, и

корпус записанных рассказов, существующий в конкретное время и в конкретном разговоре. Колониальная запись — это документ, созданный представителем администрации со своим кругом задач. Работа Дафны Голан о биографии Чаки и работа Кэролин Гамильтон о пределах исторического вымысла показывают, насколько легко эти слои слиплись в общий образ «древнего обычая», и насколько важно их снова развести, прежде чем делать выводы о начале века.

Разница между археологией, устным рассказом, записью чиновника и сегодняшней интерпретацией — не академическая тонкость, а практическое правило чтения. Археология может подтвердить, что на том или ином месте существовало поселение, но не скажет, кому принадлежало стадо. Устный рассказ объяснит, почему один дом считается старше другого, но не даст даты. Отчёт чиновника зафиксирует цену скота или число людей в переписи, но отразит цель, с которой перепись затевалась. Современная монография свяжет всё это в причинную цепочку, которую нельзя проверить иначе как вернувшись к первым трём слоям. Такое возвращение происходит постоянно: каждое объяснение сопровождается указанием на то, из какого именно регистра оно выросло.

Два масштаба — крупное изменение и его повседневное следствие — помогают не потерять людей за схемами. Когда исследователи говорят об укрупнении власти, за этим стоят не только перемещения границ, но и довольно конкретные перемены в расчётах двора: кому теперь полагается часть стада, кто решает, где пасти в засушливый сезон, перед кем держат ответ старейшины, как меняется выкуп при заключении брака. Такие следствия описываются без выдуманных частных биографий: речь идёт о типичных ролях — пастухе, старейшине, женщине, ведущей хозяйство, — а не о придуманном человеке с придуманной судьбой. Такой приём позволяет показать механизм, не подменяя его сентиментальной сценой и не приписывая никому мыслей, которых источник не сохранил.

Обязательство, выраженное в скоте, заслуживает того, чтобы задержать на нём внимание перед переходом к следующей теме. Передача голов при браке, дар покровителя зависимому дому, долг, который погашается не сразу, а по мере роста стада, — всё это делает скот не просто богатством, а языком, на котором сообщество записывает свои отношения [S11]. Власть здесь начинается не с приказа, а с того, кто вправе распределять этот язык и кто обязан на него отвечать. Именно поэтому политическую карту периода нельзя свести к перечню вождеств: поверх неё лежит сеть обязательств, которая и решает, какие дома усилятся, а какие окажутся в подчинении, когда условия изменятся.

Если смотреть на регион как на сеть, а не как на пустоту, меняется и сам вопрос о возникновении королевства. Речь идёт не о том, что некий человек пришёл туда, где прежде ничего не было, а о том, что уже существовавшие дома, пастбища, родственные связи и торговые пути оказались со временем собраны в более крупную и более централизованную систему. Такое собирание было возможно лишь потому, что материал для него имелся: у власти уже были свои институты, у хозяйств — свои ограничения, у соседей — свои интересы. Позднейшие описания нередко изображают дело так, будто всё началось с одного имени, но структурный взгляд, развитый в работах по экологии и торговле начала века, возвращает на место и остальные условия.

Сказанное выше задаёт и предел того, о чём здесь можно говорить уверенно. Справочные статьи используются для сверки общепринятых дат, но не как опора для спорных тезисов о устройстве власти. Там, где материал заканчивается, текст это проговаривает прямо: граница знания — такая же часть исторического рассказа, как и установленный факт, и её честное обозначение полезнее гладкой версии, в которой все лакуны чем-нибудь заполнены.

Поздние компиляции, как ни странно, сильнее всего и повлияли на представление о «пустом» начале. Строя связную древнюю историю, составитель поневоле превращает разрозненные предания в последовательность, где всё более раннее выглядит подготовкой к более позднему. Так возникает удобный сюжет: сначала раздробленность, потом объединитель,

потом государство. Источниковедческий разбор этот сюжет не опровергает целиком, но показывает его происхождение — он во многом обязан не столько свидетельствам начала века, сколько потребности более позднего рассказа в аккуратном начале. Поэтому карта до укрупнения здесь описывается не как пролог, а как самостоятельное устройство, которое имело собственную логику и собственные причины меняться.

Именно логика этой перемены и ведёт к следующему вопросу. Если до укрупнения власть держалась на родстве, на старшинстве домов и на обязательствах, выраженных в скоте, то стоит разобрать, из чего в точности складывалось такое устройство и почему его нельзя перевести прямо в привычные европейские слова «король», «подданный» или «налог» [S11]. Разговор поэтому переходит от земли и соседства к институту обязательства: к тому, как скот связывал дома, как совет и старшинство ограничивали правителя и какие значения вообще скрываются за словом «власть» в источниках, записанных многими десятилетиями позже.

Глава 2. Власть, родство и обмен обязательствами

Среди всех предметов, какие можно проследить по источникам начала XIX века, скот занимает особое место: он не просто упоминается, а фигурирует как запись отношения между людьми. Передача нескольких голов от одного двора другому означает не торговую сделку в привычном смысле, а возникновение длящегося обязательства, которое можно погасить, передать дальше или оспорить спустя годы. В брачном выкупе, в даре покровителя, в зависимости младшего дома от старшего просматривается одна и та же логика: ценность обладает памятью. Стадо растёт, делится, переходит по наследству, и вместе с ним переходит память о том, кто кому должен и на каком основании. Именно поэтому разговор о власти здесь начинается не с описания побед и не с перечня правителей, а с института, который можно буквально взвесить и пересчитать, хотя сам долг в головах при этом не сводится к арифметике [S11].

У такого способа фиксировать отношения есть свойства, которые важно назвать, чтобы понять его устойчивость. Скот нельзя спрятать в кармане или перенести незаметно: его присутствие видно соседям, его перемещение обсуждается, его потеря меняет положение двора сразу и надолго. Обязательство, выраженное в стаде, не требует ни печати, ни письменного договора, потому что свидетелями его становятся все, кто участвует в передаче или хотя бы знает о ней. Вместе с тем оно остаётся гибким: долг можно выплачивать постепенно, по мере приплода, можно переадресовать другому дому, можно оспорить, сославшись на давность или на изменение старшинства. Власть, вырастающая из такой системы, по необходимости оказывается властью над связями, а не только над людьми или над территорией, и это различие определяет всё последующее устройство.

Брачный выкуп даёт самый наглядный и лучше всего прослеживаемый пример. Передача скота при заключении брака связывала не двух человек, а два дома, устанавливая между ними набор взаимных прав и обязанностей, которые продолжали действовать и после того, как сам брак переставал быть новостью. Важно сразу оговорить термин: здесь он используется описательно и не сводится к «покупке» человека, поскольку в источниках речь идёт о закреплении союза, о старшинстве и о будущих детях, а не о переходе собственности. Именно эта оговорка показывает, насколько опасно переводить местные институты в слова чужого языка без остатка. Слово «выкуп» удобно, но оно несёт с собой рыночную логику, которой в засвидетельствованном отношении могло и не быть [N07].

Иерархия домов служит вторым основанием власти. Двор здесь — не просто жилище, а единица хозяйства со своим стадом, со своим старшим и со своим местом в цепочке происхождения; из таких единиц складываются более крупные группы, где одни ветви признаются старшими, а другие — младшими. Старшинство не было украшением генеалогии: оно определяло, кто первым получает слово в споре, кто распоряжается общим пастбищем, за кем признаётся право распределять скот и перед кем держат ответ в случае неурожая. Отношения внутри этой иерархии были одновременно родственными и политическими, и попытка разделить их на «семью» и «государство» заранее обречена на неточность. Источники не проводят такой границы, и историк, который её всё-таки проводит, рискует принять собственную классификацию за устройство описываемого общества [S14].

Распределение скота и доступа к пастбищам превращает иерархию в повседневное управление. Правитель, которого поздние записи называют то вождём, то королём, во многом выступает как распорядитель общего ресурса: он решает, где пасти в засушливый сезон, кому выделить скот из общего стада, какую часть приплода оставить в центре, а какую передать зависимым дворам. Такая роль не похожа на неограниченное распоряжение чужим имуществом. Она скорее напоминает обязанность поддерживать равновесие, при котором каждый двор получает достаточно, чтобы оставаться связанным с центром, и не настолько много,

чтобы перестать в нём нуждаться. Материальная ограниченность пастбищ делает этот расчёт не отвлечённой добродетелью, а условием, от которого зависит, сохранится ли союз в следующий сезон [S15].

Совет и старшинство ограничивали правителя сильнее, чем это обычно предполагают популярные переложения. Решения о земле, о войне и о преемственности принимались не в одиночку: в них участвовали старшие домов, держатели авторитета внутри сообщества и те, чьё положение давало право голоса независимо от близости к правителю. Источники, записанные десятилетиями позже, сохраняют скорее схему таких отношений, чем протоколы конкретных заседаний, и это различие приходится помнить: можно говорить о наличии совещательного порядка, но нельзя восстановить, кто именно и в каких словах возражал в тот или иной день.

Из сказанного вытекает главная переводческая трудность главы. Привычные европейские слова — «король», «подданный», «налог», «территория», «закон» — предполагают набор предпосылок, которые здесь выполняются лишь отчасти: фиксированную границу, письменную норму, аппарат принуждения, подданство как юридический статус. Власть, описанная выше, опирается на родство, на обязательства и на признание старшинства, а потому прямой перевод превращает её в нечто иное, более жёсткое и более похожее на знакомое государство, чем оно было. Такие слова всё же используются как рабочие русские обозначения, но всякий раз с пониманием их условности: «правитель» здесь не обязательно монарх, «зависимость» не обязательно крепостное состояние, а «вождество» не обязательно территориальная единица с чёткой межой [N06].

Поздние наблюдатели, напротив, нередко пользовались именно жёстким словарём. Чиновники и путешественники, описывавшие устройство Наталя и Зулуленда, переводили встреченные ими отношения в термины своей административной привычки: каждое сообщество получало название, границу и «вождя», с которым можно было вести переговоры как с ответственным лицом. Такая запись была не злым умыслом, а практической необходимостью — документ требует определённости, а определённость проще всего взять из собственного языка. Но для историка она создаёт ловушку: если принимать эту терминологию за описание начала века, политическая карта становится аккуратнее, чем позволяют свидетельства. Ранние компиляции преданий, прежде всего работы Брайанта, добавили к этому ещё и связную древнюю историю, где разрозненные дома выстроились в устойчивые группы с установленными названиями и местами расселения.

Критика такой реконструкции, прозвучавшая в более новых исследованиях, возвращает к вопросу о применимости поздних этнографических описаний к началу XIX века. Статья Джона Райта о том, как конструировалась категория «лала», показывает, что сама привычка делить людей на устойчивые группы с чёткими именами во многом обязана классификаторской работе более позднего времени, а не прямой фиксации тогдашнего порядка. Позиции здесь расходятся: одни исследователи допускают осторожную экстраполяцию поздних записей на более ранний период, другие считают её методологически недостоверной. [S08][S09][N08]

Различение регистров помогает не запутаться в этом споре. Фактом здесь будет, например, существование записанного свидетельства с указанием времени и собирателя. Свидетельством — сообщение конкретного человека о том, как, по его словам, распределялся скот. Устным преданием — объяснение того, почему один дом считается старше другого. Научной интерпретацией — вывод о том, что совет ограничивал правителя. Проблема начинается там, где предание незаметно переходит в факт, а интерпретация — в сообщение очевидца: именно так в популярных изложениях и рождается уверенный рассказ о «древних обычаях», хотя за ним стоит не один источник, а несколько слоёв разного возраста. Удерживать эти слои раздельно — и есть основная работа историка в этой теме.

Отдельная трудность связана с тем, как один и тот же перевод скота называют разные наблюдатели. В записанных устных свидетельствах передача может выглядеть как дар, скреп-

ляющий покровительство, а в более позднем административном документе сходное действие легко получает имя дани или подати; разница здесь не в движении животных, а в словаре того, кто описывает происходящее. Для истории власти такое расхождение существенно: из слова «дань» невольно вырастает представление о регулярном изъятии по установленной норме, тогда как источник мог сообщать лишь о разовой передаче, приуроченной к конкретному союзу домов. Поэтому здесь при описании раннего периода предпочитаются нейтральные обороты вроде «передачи скота» или «обязательства», а более жёсткие термины остаются за пределами этого периода, где их применение требует отдельного обоснования. Читатель, знакомый с европейской фискальной историей, без такой оговорки легко принял бы привычное слово за подтверждение знакомого учреждения.

Отдельный вопрос касается того, чьи голоса в источниках сохранились хуже. Исследование о недооценённых фигурах зулусской истории обращает внимание на то, что женщины в традиционных описаниях почти не видны, хотя ведение двора, обработка зерна, распоряжение молоком и участие в брачных договорённостях составляли значительную часть хозяйства. Умолчание источника здесь не означает отсутствия роли: оно говорит о круге вопросов, которые задавал собиратель, и о том, что считалось достойным записи в его время. Там, где материалы всё же позволяют судить о положении женщин, важно не превращать это суждение в обобщение обо всём обществе и обо всём столетии; разные дворы, разные статусы и разные десятилетия давали неодинаковую картину. Такой же осторожности требует и любой вывод о «положении женщин» вообще, если он опирается на одну запись, сделанную спустя поколения [S05].

Обязательства образовывали не резкую пару «свободный — зависимый», а целую шкалу переходных состояний. Дар покровителя мог со временем стать ожидаемой данью; младший дом, получивший скот, мог укрепиться настолько, что менял своё место в иерархии; долг, не погашенный при жизни старшего, переходил к наследникам и обрастал новыми толкованиями. Эта текучесть важна для понимания того, как вообще возможно укрупнение: связи можно было не только разрушать, но и перенаправлять, присоединяя одни дома к центру и ослабляя прежние притязания других. Власть здесь растёт не столько из числа подчинённых, сколько из способности переписывать направление обязательств, не разрывая при этом саму сеть, без которой скот и пастбища теряли бы своих распорядителей [S12].

На уровне отдельного двора такие решения оборачивались вполне прозаическими расчётами. Появление нового покровителя меняло не отвлечённый «статус», а то, кому отводится часть приплода, где семья пасёт скот в сухой сезон, сколько голов можно передать при заключении брака и перед кем старший двора отчитывается в споре о траве. Эти следствия описываются через типичные роли — старейшину, пастуха, женщину, ведущую хозяйство, — а не через выдуманную частную биографию с придуманными обстоятельствами. Такой приём позволяет показать механизм на двух масштабах сразу: крупный сдвиг в отношениях домов и его отражение в повседневном расчёте, который делает сезон удачным или трудным. Именно это соединение, а не парадная картина власти, и объясняет, почему институты держались дольше отдельных правлений [S05].

Временной характер обязательств заслуживает отдельного замечания. Скот, переданный сегодня, приносит приплод через год, а спор о том, кому принадлежит этот приплод, может возникнуть через десятилетие, когда непосредственных участников передачи уже нет в живых. Поэтому устные свидетельства так часто хранят не дату, а цепочку: кто кому приходился старшим, от кого пошёл двор, какая ветвь получила скот и почему. Относительная хронология здесь надёжнее абсолютной, и попытка привязать каждое звено к календарному году без внешнего документа почти неизбежно превращается в догадку. Для исследователя это не досадная помеха, а свойство материала: отношения действительно были длящимися, и запись, сделан-

ная десятилетиями позже, отражает именно их длительность, а не только момент их возникновения [S11].

Преемственность власти вписывается в ту же логику. Переход главенства от одного правителя к другому затрагивал не только личность, но и всю сеть обязательств: зависимые дворы должны были подтвердить своё отношение к новому центру, старшие дома — признать или оспорить порядок старшинства, а распределение скота — пройти через новую проверку. Поэтому смена правителя в источниках обычно видна не как одномоментное событие, а как период согласований, в ходе которого прежние связи либо подтверждаются, либо перестраиваются. Этот механизм будет важен позже, когда речь пойдёт о том, что удержало королевство после 1828 года; здесь достаточно заметить, что устойчивость института и устойчивость конкретной биографии — разные вещи, и первая объясняет больше, чем вторая [S14].

Объяснять устройство одной только военной силой было бы упрощением, от которого предостерегают и материалы о преемственности, и работы о пределах исторического вымысла. Принуждение, разумеется, входило в арсенал возможностей правителя, однако оно не объясняет ни почему дворы признавали старшинство, ни почему скот переходил по правилам, ни почему совет сохранял голос при смене власти. Гораздо продуктивнее смотреть на власть как на совокупность обязательств, которые надо постоянно подтверждать: распределять ресурсы, выслушивать старших, следить за пастбищами и помнить, кто кому должен. Такое описание лишено эффектности, зато соответствует тому, что действительно можно установить по источникам, и не требует ни восхищения правителем, ни его демонизации [S07].

Старшинство работало и как способ разрешать споры о пастбищах, где сталкивались интересы нескольких дворов. Вместо ссылки на документ о праве собственности участники обращались к порядку происхождения домов, к давности прежних договорённостей и к тому, кто прежде распоряжался этим участком в засушливые сезоны. Такое решение не было произволом старшего: оно должно было быть признано остальными, иначе обязательство оставалось оспоренным и могло всплыть при следующем переделе. Для отдельного хозяйства исход спора означал вполне конкретные вещи — доступ к воде на ближайшие месяцы, возможность сохранить приплод, необходимость отвести часть стада дальше от двора. Именно в таких повторяющихся расчётах, а не в парадных описаниях, и проявлялась власть, о которой идёт речь: она ежегодно подтверждалась тем, что её решения исполнялись.

К переводческой проблеме стоит вернуться ещё раз, потому что она определяет словарь всего изложения. «Вождь», «правитель», «король» используются здесь как рабочие русские обозначения с разным объёмом полномочий, и ни одно из них не является точным эквивалентом того, что стоит в источнике. Там, где нужно подчеркнуть ограниченность власти, говорится о совете и старшинстве; там, где нужно подчеркнуть её материальную основу, — о скоте и пастбищах; там, где речь идёт о более поздней администрации, оговаривается, что это уже другой словарь и другое время. Такой подход несколько замедляет чтение, зато не позволяет случайному слову незаметно подменить собой целое учреждение. Читатель, знакомый с европейской историей, легко узнаёт в «королевстве» привычный образ, и именно поэтому приходится всё время уточнять, что за этим образом стоит иное устройство.

Совет в источниках выступает не как совещательный орган с регламентом, а как круг людей, чьё признание делает решение действительным. Поздние записи сохраняют главным образом то, что решение вообще должно быть признано старшими, а не то, как именно проходило обсуждение; поэтому здесь нет ни описаний заседаний, ни распределения ролей, ни реплик участников. Можно говорить о порядке, при котором правитель не действует вне признания домов, и нельзя восстановить протокол конкретного дня. Это разграничение особенно важно в разговоре об институтах: соблазн «оживить» совет велик, но каждый раз он уводит от документа к беллетристике, чего в историческом повествовании допускать не стоит.

Колониальная запись добавила к этому ещё один слой. Стремясь сделать население удобным для учёта и переговоров, администрация закрепляла за группами названия, границы и ответственных лиц, а затем уже через эту сетку читала более ранние отношения. В результате то, что было сетью обязательств разной прочности, в документах превращалось в перечень единиц с одинаковым статусом. Брайантовские компиляции, в свою очередь, снабдили этот перечень древней историей, так что у более позднего читателя возникало впечатление, будто такая карта существовала всегда. Источниковедческий разбор не обвиняет составителей в намеренном искажении; он показывает, как практические задачи записи меняют саму форму того, что записывается [S12].

Работа об «изобретении традиции» и работа о биографии Чаки помогают увидеть и обратную сторону процесса: ссылка на давнее прошлое сама становится инструментом власти. Когда тот или иной порядок объявляется исконным, спор о нём переносится из области текущего расчёта в область происхождения, где доказать или опровергнуть что-либо труднее. Для главы об обязательствах это существенно, поскольку именно здесь нередко искали «древний обычай»: брачный выкуп, старшинство, зависимость легко подавались как неизменные установления, хотя источники показывают их как отношения, которые пересматривались по мере изменения стад, пастбищ и расстановки домов. Разница между неизменным обычаем и длящимся, но изменяемым отношением — не терминологическая придирка, а вопрос о том, как вообще понимать перемены [S01].

Наконец, само слово «королевство» в применении к этому периоду принадлежит не источникам начала века, а более позднему словарю исследователей. Историки расходятся в том, с какого момента допустимо говорить о государстве: одни связывают этот рубеж с появлением единого центра и устойчивой системы подчинения, другие настаивают, что речь всё ещё идёт о союзе вождеств с разной степенью зависимости. Ни та, ни другая позиция не опровергается одним документом, поскольку каждая задаёт свои критерии того, что считать государством. Поэтому «королевство» используется как рабочее, а не как классификационное понятие: оно удобно для связного рассказа, но не должно создавать впечатление, будто в источниках зафиксирован момент, когда одно устройство сменялось другим. Граница здесь проведена самим исследователем, и честнее назвать её условием описания, чем выдавать за установленную дату.

О пределах знания здесь тоже приходится говорить прямо. Не цитируются и правовые нормы: административная практика более позднего времени упоминается лишь как контекст, без разбора конкретных законов и без юридических оценок. Там, где источник сообщает только схему отношения, текст и говорит только о схеме, не подставляя на место пропущенного числа правдоподобную величину. Такая сдержанность делает рассказ суше, но сохраняет главное — различие между тем, что известно, и тем, что удобно было бы знать.

Связь между крупным сдвигом и повседневным расчётом снова оказывается самым надёжным способом объяснения. Если центр перераспределяет обязательства, для отдельного двора это означает не смену «эпохи», а изменение множества мелких условий: где пасти, кому отдавать приплод, как договариваться о браке, перед кем отвечать в споре о воде. Этот масштаб выдерживается намеренно: за институтами всё время видны люди, принимающие решения в условиях нехватки корма и сезонной неопределённости, но при этом ни одному из них не приписываются выдуманные слова, мысли или чувства. История власти предстаёт поэтому не как череда громких эпизодов, а как непрерывная работа по поддержанию связей, которая в обычный сезон занимает куда больше места, чем парадные описания [S11].

Механизм, который делает возможным последующее укрупнение, уже содержится в описанном устройстве. Обязательства можно перенаправлять: двор, ранее связанный с одним домом, способен оказаться в подчинении у другого, если меняются старшинство, доступ к пастбищам и способность центра распределять скот. Из этого не следует, что объединение было

предопределено или что его можно вывести из одной только хозяйственной логики; речь лишь о том, что материал для него имелся и что он был именно сетевым, а не территориальным. Власть росла, перестраивая направления долгов, а не просто прибавляя земли, и понимание этого различия понадобится всякий раз, когда дальше пойдёт речь о союзах, соперниках и пределах того, что вообще можно приписать одному правителю.

От института обязательства разговор естественно переходит к фигуре, через которую позднейшая традиция чаще всего объясняла все эти перемены. Биография Чаки в источниках устроена так, что за ней почти не различить самого человека: слишком многое в ней записано десятилетиями позже и слишком многое пересказано в форме готового сюжета. Поэтому следующая тема — не очередной пересказ жизни правителя, а разбор того, как отбираются факты биографии, почему «базовая версия» обнаруживает структуру героического повествования и как историк работает с преданием, не объявляя его ни истиной, ни выдумкой.

Глава 3. Юность Чаки: что известно и что спорно

Отправной точкой этой главы служит не эпизод из жизни правителя, а научная статья. В 1990 году Дафна Голан опубликовала в журнале «History in Africa» работу, посвящённую жизненному рассказу о Чаке и напряжённостям вокруг положения женщин в зулусском государстве; уже само заглавие показывает, что объектом исследования выбран не человек, а повествование о нём. Исследовательница поставила вопрос о том, как складывалась так называемая базовая биография и почему каждое поколение пересоздавало образ правителя заново. Такой ход задаёт и всему изложению его главный ракурс: прежде чем судить о том, что именно произошло в первые десятилетия XIX века, приходится разобрать, из каких слоёв состоит самый привычный рассказ и в каком порядке эти слои легли друг на друга [S01].

Под «базовой биографией» здесь понимается та последовательность эпизодов, которая воспроизводится в справочниках, популярных книгах и школьных текстах с минимальными различиями: происхождение, трудное положение в юности, возвышение, перемены в устройстве войска, гибель. Удобство такой схемы в том, что она легко запоминается и даёт готовую причинную цепочку, где каждое более позднее событие вытекает из предыдущего. Голан обратила внимание на другое: эта последовательность обнаруживает структуру героического сюжета, знакомую по преданиям самого разного происхождения, — испытание, уход, возвращение, обретение силы, утрата. Речь не о том, что все эпизоды выдуманы, а о том, что их отбор и взаимное расположение подчинены логике рассказа, а не только логике сохранившихся свидетельств [S01][N09].

Методологический вывод из такого наблюдения требует точной формулировки, иначе он превратится в обратную крайность. Сходство с героическим повествованием не доказывает, что событий не было, и не даёт права объявить предание сплошной выдумкой; оно показывает, что источник надо читать как источник определённого жанра, со своими правилами отбора и со своей памятью. Историк, обнаруживающий в биографии знакомую сюжетную структуру, получает не опровержение, а предупреждение: уверенные детали в таком тексте могут быть обязаны не наблюдению, а требованиям жанра. Поэтому здесь ни один эпизод юности правителя не пересказывается как достоверный факт, а те немногие сведения, которые вообще можно обсуждать, всякий раз сопровождаются указанием на время и характер их записи [S07].

Слово «миф» в статье Голан употребляется в техническом смысле, и это стоит оговорить сразу, иначе читатель решит, будто исследовательница называет предание обманом. В историографии миф — это не ложное сообщение, а устойчивый рассказ, который объясняет происхождение и придаёт смысл общему порядку, независимо от того, можно ли проверить каждое его звено. Из такого понимания не следует, что события не происходили; следует лишь, что проверять их надо иначе, чем проверяют дату в приходской книге. Смешение двух значений слова порождает ложную альтернативу: либо «всё было именно так», либо «всё выдумано». Историк же работает в промежутке, где рассказ одновременно что-то сообщает о прошлом и что-то — о времени своей записи.

Вопрос о времени записи здесь решающий. Основной массив устных свидетельств, из которого позднее выросла привычная биография, был зафиксирован в конце XIX и в начале XX столетия, то есть через несколько десятилетий после событий, о которых в нём идёт речь. Собиратель работал в условиях колониальной администрации Наталя, записывал разговоры с людьми, для которых описываемое прошлое было уже историей их предков, а не личным воспоминанием. Это обстоятельство не обесценивает записи, но меняет их статус: они сохраняют то, как прошлое рассказывали в момент беседы, и не могут служить прямым отчётом о дне, отделённом от беседы жизнью целого поколения. Такие материалы поэтому именуются устным преданием, а не свидетельством очевидца [S11].

С датами жизни правителя связана отдельная осторожность. Разные справочные издания приводят несовпадающие датировки рождения, начала правления и гибели, а значительная часть этих датировок представляет собой результат позднего согласования преданий с внешней хронологией, а не прямую фиксацию современника. Конкретные календарные даты раннего периода не приводятся там, где за ними нет проверенного документа: честнее сказать, что правитель жил и действовал в первые десятилетия века, чем привязывать каждый эпизод к году, который в источнике не засвидетельствован. Справочные статьи используются лишь для сверки общепринятых вех и не служат опорой для спорных выводов о характере правления [N10][S17].

Откуда тогда берутся календарные даты, если прямых современных записей почти нет. Чаще всего их выводят из сопоставления двух рядов: относительной последовательности правителей, сохранённой в устных пересказах, и немногих внешних вех, зафиксированных в документах путешественников и администрации. Совмещение это неизбежно содержит допущение о средней продолжительности правления или о возрасте события, и потому результат остаётся расчётом, а не находкой в архиве. Разные справочники получают разные числа не столько из-за разных источников, сколько из-за разных допущений при таком совмещении.

Устное предание в этом контексте выполняет работу, которую не выполняет документ. Оно объясняет, откуда пошёл тот или иной дом, почему одна ветвь признаётся старшей, какие обязательства связывают потомков и на чём основано право на главенство. Для истории государства это сведения первостепенной важности, даже если их нельзя перевести в протокол конкретного дня. Поэтому историк не обязан объявлять такой рассказ истинным или ложным: он обязан показать, что именно в нём можно установить, а где начинается область правдоподобного, но независимо не подтверждённого. Предание сообщает о порядке старшинства и о смысле, который община придавала своему прошлому; документ сообщает о дате и о позиции записавшего; спор между ними возникает лишь тогда, когда один пытаются выдать за другой [N11].

Сопоставление с другими героическими нарративами, к которому прибегает Голан, позволяет увидеть общий механизм. В рассказах такого рода почти всегда обнаруживаются устойчивые места: необычное происхождение, период устранения от власти, приобретение необычного умения или предмета, решающее испытание и затем резкая перемена состояния целого сообщества. Сходство не означает заимствования и не указывает на конкретный образец; оно указывает на то, что память охотно укладывает разрозненные сведения в знакомую форму. Из этого следует практическое правило: чем ближе эпизод к такому устойчивому месту, тем осторожнее надо относиться к его бытовым подробностям, даже если сам эпизод широко воспроизводится. Деталь, украшающая сюжет, и деталь, сохранившаяся случайно, в источнике выглядят одинаково, и различить их помогает только сравнение нескольких независимых записей [S01].

Работа Кэролин Гамильтон о пределах исторического вымысла развивает ту же осторожность на более широком материале. Исследовательница прослеживает, как складывался образ Чаки и где проходит граница между восстановлением прошлого и его изобретением для нужд более позднего времени. Важно, что «изобретение» здесь не равно обману: речь о процессах, в которых отбор сюжетов, перевод терминов и потребность в связном начале незаметно меняют картину. Для биографии правителя это означает, что популярный образ нельзя ни принять за документ, ни просто отбросить: он сам стал историческим фактом, достойным изучения, поскольку влиял на то, какие вопросы задавали исследователи и какие материалы казались им заслуживающими публикации [S07].

Оценка фигуры правителя менялась от десятилетия к десятилетию, и в этом легко убедиться, сопоставив ранние компиляции с более поздними исследованиями. В работах А. Т. Брайанта предания выстраиваются в связную древнюю историю, где действия правителя получают законченное объяснение и где лакуны заполняются правдоподобным продолжением;

такая проза читается легко, но её гладкость обязана литературной обработке, а не обилию свидетельств. Более новые исследования, напротив, настаивают на разрывах и на неполноте материала. Позиции расходятся не по отдельным датам, а по самому вопросу о том, что считать доказанным: традиционные изложения охотно принимают поздний пересказ за основу, тогда как источниковедческий подход требует сначала восстановить историю самого пересказа [S09].

Джон Лабанд здесь о подъёме и упадке зулусского государства представляет иную точку опоры: его интересуют прежде всего институты, преемственность и устройство, а не драматическая биография отдельного лица. Такая позиция не отменяет вопросов, поставленных Голан, но показывает, что разговор о правителе вовсе не обязан строиться вокруг его личной истории. Там, где один исследователь видит структуру героического сюжета, другой видит изменения в организации, которые можно обсуждать независимо от того, что именно говорили о детстве правителя шестьдесят лет спустя. Это расхождение сохраняется как расхождение: не выбирается самая эффектная версия и не объявляется победившей самая строгая, но всякий раз указывается, на какой материал опирается каждое суждение [S14].

Отдельная линия статьи Голан связана с положением женщин в зулусском государстве и с тем, как биография правителя вытесняла из рассказа другие фигуры. Исследование о недооценённых участницах этой истории обращает внимание на ту же проблему с другой стороны: в традиционных описаниях женщины почти не видны, хотя ведение двора, распоряжение молоком и участие в брачных договорённостях составляли значительную часть хозяйства и политики родства. Для источниковедения здесь важно не столько «восстановить справедливость», сколько заметить механизм умолчания. Если собиратель задавал вопросы о походах и о правителях, он и получал ответы о походах и о правителях; отсутствие других голосов в записи говорит о круге его интересов, а не об отсутствии людей в описываемом обществе [S05].

Юность правителя — как раз та часть биографии, где соблазн литературной достройки особенно велик. Именно о детстве и о ранних годах сохранилось меньше всего независимых свидетельств и именно здесь популярный рассказ охотнее всего предлагает законченные сцены с разговорами, переживаниями и объяснениями будущего характера. Таких сцен нет по простой причине: доступные материалы не содержат ни речей, ни мыслей, ни достоверных бытовых подробностей этого времени, а правдоподобие не может заменить свидетельство. Можно обсуждать, как позднее рассказывали о происхождении и старшинстве, и нельзя описывать, что именно произошло в конкретный день в конкретном дворе, не превратив историческое повествование в роман.

Столь же важно удержаться от двух противоположных и одинаково упрощающих образов. В более ранней литературе правителя нередко изображали как воплощение жестокости, сводя целый период к личным качествам одного человека; в популярных переложениях более позднего времени тот же персонаж легко превращался в почти сверхчеловеческого основателя, которому приписывали все перемены разом. Обе крайности устроены одинаково: они объясняют сложный процесс характером, а не условиями, и снимают вопрос о том, что именно можно установить по источникам.

Показательно и то, как менялся словарь оценки. Слова вроде «тиран», «реформатор» или «объединитель» принадлежат языку более поздних описаний и несут с собой готовую шкалу, на которой действие правителя заранее получает знак. В записанных устных свидетельствах такой шкалы нет: там речь идёт о старшинстве, о повинностях, о распределении скота и о том, кто за кем следовал. Перенос поздней оценки на ранний материал поэтому незаметно превращает описание отношения в характеристику личности.

Работа с преданием без объявления его истиной или ложью требует довольно скучной, но надёжной процедуры. Сначала выясняется, когда и кем записан рассказ, затем — какие вопросы мог задавать собиратель и в каком словаре он передавал ответ, затем — какие части рассказа повторяются в независимых записях и какие существуют в единственном варианте.

Только после этого обсуждается, что именно из рассказа можно отнести к факту, что к свидетельству о памяти и что к более поздней интерпретации. Такая последовательность не даёт эффектной разгадки, зато не позволяет случайной детали, однажды попавшей в популярную книгу, незаметно приобрести статус документа. В этой главе биография поэтому интересует автора главным образом как история отбора фактов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.